

Ю. МАКАРОВ.

# Моя Служба в Старой Гвардии

1905 - 1917

МИРНОЕ ВРЕМЯ И ВОЙНА.



БУЭНОС АЙРЕС

1951



са не позволялось, но при фуражке, при поясе, с застегнутым воротом и с ногами в опорках, вне службы, в лагерях солдат считался одетым по форме. В таком виде он мог предстать даже перед ротным командиром. В опорках строем роты ходили на обед и на ужин, причем по старой гвардейской традиции в четырех шагах перед ротой шел флейтист, игравший на дудочке.

Должен впрочем оговориться, что обо всех этих лагерных порядках я узнал на месяц позже, когда явился в полк на службу. Нас, свежесыпущенных офицеров, в первый год в лагерь с собой не взяли, а сразу же по представлении начальству и по зачислении в списки, отпустили в отпуск, так называемый "28-ми дневный". Этот традиционный, полагавшийся всем молодым офицерам после производства отпуск, давался, конечно, не для отдыха. В счастливом 19-летнем возрасте, чтобы отдохнуть вполне достаточно проспять без просыну часов десять. Попечительное начальство установило его с целью дать папашам и мамашам возможность вдоволь насладиться лицезрением своего отпрыска в офицерской форме, а самим отпрыскам покуролесить вообще, а перед знакомыми девицами в особенности. Свой 28-дневный отпуск я целиком провел в Ярославской губернии, где у меня жила мать, старший брат, председатель Любимской земской управы, двое дядей и одна тетка. Всех их нужно было навестить, иначе была бы горькая обида. Главная часть отпуска отводилась городу Любиму (3.000 жителей) и селцу Соболеву, имению моего деда и отца, а потом и старшего брата. Как в Любиме, так и в Соболеве, матерью был составлен список, к кому нужно было отправиться с визитом. Около Соболева было три деревни, Демково, Лобаново и Стряпово, где жили главным образом дети и внуки крепостных моего деда. Все обитатели этих деревень нас, конечно, знали. И мы их знали, но большинство были просто "соседи". С ними раскланивались, здоровались, спрашивали друг друга о делах, о здоровье, но "домами" знакомы не были. Ни они к нам, ни мы к ним в гости не ходили. Все же в каждой деревне были две, три семьи, которые были связаны с Соболевским домом специальными узами. За рекой, в Лобанове, жила бывшая нянька моего брата, Матрена Милантьевна, по настояющему, надо думать, Мелентьевна, но все звали ее "Милантьевна". В нашем доме она научилась шить. Мать помогла ей купить швейную машину и через несколько лет она сделалась самой модной портнихой во всей округе. В деревне Демкове жила Авдотья Ивановна, когда-то кормилица моей сестры. В Стряпове проживала Анна Васильевна. Она была дочка бабушкиной горничной и жила с сыном, Иваном Петровичем, который был мужик хозяйственный и держал лавку, где можно было купить и топор и хомут и на две копейки мучных леденцов в бумаге. Он ко



мне всегда благоволил и первый мой топор, маленький, с лакированным топорницем, когда мне было 9 лет, я получил в подарок именно от него. Во все эти дома и в кой-какие другие, мне надлежало явиться с визитом и, конечно, с дарами. Дары были традиционные, из года в год одни и те же, фунт чаю, фирмы Высоцкого, с кораблем, цена два рубля. Кроме этих почтенных людей, знавших меня мальчишкой и называвших меня по имени и на ты, были у меня в деревне и сверстники, товарищи игр и всяких экскурсий по лесам, из них главный Васька Шабаршов. Когда раз вечером мы с ним ехал в телеге между двух стен высокой, желтой ржи и везли бидоны молока на сыроварню, он раскрыл мне великую тайну зарождения человеческой жизни. С ним мы водили большую дружбу и подрались, кажется, всего один раз за все долготнее знакомство. Когда я до того приезжал на лето в деревню кадетом и юнкером, моя форма наших старинных отношений не меняла. Теперь же, при первом свидании, уже почувствовалась некоторая натянутость. Были даже сделаны попытки называть меня на "вы". После первой тяги, на которую мы во второй же вечер отправились, всякая напряженность исчезла.

Хотя Соболево лежало в 13-ти верстах от славного города Любима и в 17-ти верстах от железной дороги, сторона наша, как я уже и писал, была вовсе не глухая. Неважная земля и суровый северный климат делали то, что земледелие у крестьян было не единственное занятие. Землю пахали только для своих скромных надобностей. Остальное давали лес, коровы и отхожие промыслы. Хотя от нас до Москвы было ближе, но почему-то вся наша округа тяготела к северной столице. В каждой деревне насчитывалось по несколько "питерщиков", которые тянули за собой свою родню. Раз в год из столицы они приезжали на побывку на родину, непременно в пиджаках, а со станции брали тройку с колокольчиками и с бубенцами. Под старость, сколотив деньжонки правдами и неправдами, чаще неправдами, они возвращались в свою деревню, строили себе дома с тесовыми крышами и ставили на окна горшки с цветами. Помню, в одном таком доме цветочные горшки были круглые, белые фаянсовые и с ручкой. Надо думать, что питерщик хозяин знал их истинное назначение, но односельчане не знали, и эти предметы очень украшали парадную комнату. При таком градусе цивилизации "дикой" нашу сторону никак нельзя было назвать, и это несмотря на то, что знаменитое "Пошехонье", тоже уездный город Ярославской губернии, лежало сравнительно недалеко от нас. Хоть и не очень бойко, почти вся наша молодежь умела читать и писать. Одна школа была в трех верстах, в селе Иване-Богослове. Другая была в двух верстах у Троицы. Девушки наши все были отъявленные модницы. У каждой было непременно го-



родское платье, а у многих и не одно. Главная модистка Магрена Ми-лантьевна из Лобанова получала модные журналы даже не из Ярослав-ля, а прямо из Москвы. В мое время у нас в моде цвета были яркие, кумачевый красный, канареечный желтый и купоросовый зеленый. Дома и в поле девицы одевались, как попало. Когда же шли в гости в соседние деревни, то отправлялись босиком, а на головах несли ог-ромные узлы, с ботинками и с туалетами. В течение вечера то одна, то другая девица вдруг исчезала и через несколько минут появлялась снова, но уже в новом платье. И так несколько раз за вечер. Так они и назывались: "невеста на две перемены" или "на три перемены". Со-проводжавшие девиц молодые люди шли также босиком. За спиной на палке несли пиджаки и сапоги, с надетыми на них калошами. В ру-ках держали зонтики. И это совершенно независимо от погоды. Кто-нибудь из них прилежно наяривал на гармошке. Если в это время ударял дождь, гармошку спешно прятали, а девицы белые нижние юбки, кроме конечно самой последней, накидывали себе на голову. Вальс танцевать еще не умели, а танцевали польки и кадрили под гар-мошку и под пень. Особенно ловко, с притоптываньем и с вывертом вы-ходила кадрили под Пушкинское: "прибежали в избу дети, второпях зовут отца, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца". Очень нравился звонкий, четкий размер стиха, под который так ловко танцевать. И то, что мрачные слова: "и в распухнувшее тело раки черные впились", не совсем соответствовали залихватскому мотиву, никого не сму-щало. Александр Сергеевич был твердо уверен, что "слух о нем прой-дет по всей Руси великой", но все-таки вряд ли он мог предполагать что одни из самых страшных его стихов будут распеваться на мотив ухарской кадрили.

В свободное от прогулок, охоты и визитов время, я сидел дома с матерью. Мать моя происходила из старой дворянской семьи Ушако-вых. По преданию, записанному в российском гербовнике, Ушаковский род ведет свое начало от Косожского богатыря Редеди, который едино-борствовал с князем Мстиславом Удалым и был им убит. Насколько это правда, судить не берусь, но от "богатырского" происхождения у Ушаковых, которых я знал, кое-что сохранилось. Хотя и небольшого роста, все они были люди широкие, здоровые и крепкие. Что род этот очень древний, можно судить по тому, что двое Ушаковых подписа-лись в 1613 году под избранием на царство Михаила Романова, а в акте этом принимали участие тогда только представители самых ста-рых дворянских семей. Знаю, что все дворяне Ушаковы принадлежат, собственно, к одной семье, но какое в точности отношение линия мое-го деда с материнской стороны имеет к известному Андрею Ивановичу Ушакову, деньщику Петра Великого, и к знаменитому адмиралу,



мне к сожалению неизвестно. Наша Ярославская линия Ушаковых была бедная и довольно захудалая. С незапамятных времен все мальчишки служили в малых чинах в военной и морской службе. Девочки, тут же на месте, выходили замуж за мелких помещиков, отставных капитанов и секунд-майоров. Мой дед, Афанасий Петрович Ушаков, в молодости проделал Наполеоновские войны, вышел в отставку полковником и, как тогда водилось, поселился в своей деревне Чистополье, Даниловского уезда. Имение было маленькое, всего 50 душ крестьян, а семья большая, 9 человек детей. Из всех этих детей самая необычайная судьба выпала на долю тетки Веры и дяди Якова. Вера блестяще кончила один из Петербургских женских институтов и была приглашена в богатую и знатную семью Мусин-Пушкиных в смешанном качестве компаньонки и бедной родственницы. Пушкины взяли ее с собой на год в Париж. Там она встретилась с молодым чиновником министерства колоний Гастоном Дюлоран и влюбилась в него, а он в нее. Молодые люди решили пожениться. Написали деду, испрашивая благословения. Тот сначала и слышать не хотел. Для него Наполеон был приблизительно тем же, что для нашего поколения Гитлер, и хотя в то время во Франции уже царствовал его племянник, дед считал, что первый Наполеон или третий, все равно одна пайка. В конце концов его все же удалось уломать и позволение было дано, но неизменным условием было поставлено, чтобы француз самолично явился в Чистополье, чтобы свадьба состоялась там же и чтобы венчал их свой сельский поп. Все это так и было исполнено. Через неделю молодые уехали в Париж. Жили они удивительно счастливо. И хотя у них было трое сыновей, Рауль, Альфред и "Атанас", в честь деду, двоюродные братья, которых я никогда не видал, как это нередко случается, тетка была гораздо больше жена, чем мать. Гастона своего она обожала. Гастон же отлично пошел по службе и кончил губернатором на Мартинике. Когда он умер уже стариком, тетка пережить его не захотела. Она поехала в Париж, пробралась в ту самую маленькую квартиру, в которой они начинали жизнь, где-то в 4-м этаже на улице Вожирар, улучила минуту, когда на нее никто не смотрел, открыла окно и выбросилась на мостовую. Было ей тогда уже хорошо за пятьдесят.

Дядя Яков, кончив 1-ый кадетский корпус, вышел прапорщиком в Семеновский полк и сразу же поступил в Инженерную Академию, Будучи в Академии, он пристал к народофильскому движению, был арестован, судим, лишен офицерского звания и посажен в Петропавловскую крепость. Приговор был: с лишением всех прав на два года в каторжные работы. Сравнительная мягкость приговора объясняется тем, что он был очень молод. Ему не было еще и 21 года. Все же в



кандалах он прошел по Владимирке и проработал почти полный срок. Постепенно смотритель рудника стал ему делать всякие поблажки, а когда тот вышел на поселение, взял его к себе в дом учителем детей. 26-ти лет он вернулся в Россию и ему было позволено поступить на службу. Дядя Яков кончил жизнь 72 лет членом Государственного Совета по выборам от Ярославского дворянства.

Моя мать, Надежда Афанасьевна, была моложе сестры Веры на три года. В противоположность сестрам и братьям, никаких способностей к наукам у нее не было. Даже нехитрая институтская премудрость того времени оказалась ей не по силам и ее взяли домой до окончания. И несмотря на все это, из всех сестер она сделала самую удачную партию. В 1865 году, когда она вышла замуж, мать была 20-летняя, очень миловидная, очень скромная и очень свежая провинциальная барышня, в белом кисейном платье танцевавшая на вечерах в Даниловском Дворянском клубе. Все же "кисейной барышней" она отнюдь не была. Когда были освобождены крестьяне, ей минуло уже 16 лет. В бедном помещичьем доме, при старых родителях, ей нередко приходилось выполнять самые разнообразные работы. Кроме шитья, кухни и домашнего хозяйства, она знала, как мыть пол, как выдоить корову и умела запречь в телегу лошадь. В июньскую и июльскую страду она брала серп или грабли и шла работать в поле. В праздники она ходила с девками "по ягоды" и "по грибы", хохотала с ними, качалась на качелях и пела с ними песни. При таком воспитании мужик не был для нее неким мифическим существом, наделенным всевозможными добродетелями, а, наоборот, очень реальной величиной. Жизнь и потребности его она знала в совершенстве. Если бы ей тогда сказали, что она занимается "опрощением" или "хождением в народ", она, надо думать, первым делом не поняла бы, что это значит, а если бы ей растолковали, очень бы удивилась. Все же, если бы ее спросили, что она думает о равенстве людей, она бы ответила, что все люди равны только перед Богом. А на земле существуют дворяне-помещики и крестьяне. Крестьяне дворян обязаны почитать, уважать и слушаться. Дворяне же должны им помогать, учить их уму разуму и об них заботиться. Так между прочим и Бог велел. Все же о крепостном праве она не жалела и считала его большой несправедливостью.

Когда мать и отец в первый раз встретились, он был отставной штабс-капитан Измайловского полка и ему было 26 лет. Он только что очень либерально разделился со своими крестьянами, причем на его долю пришлось до 2.000 десятин земли в 4-х губерниях: Костромской, Ярославской, Владимирской и Вологодской. Земли было много, но стоила она сравнительно недорого. По внешности отец был тогда молодой человек с барскими манерами, с бородкой на две стороны, по



тогдашней моде, с волосами почти до плеч и с не по годам серьезными взглядами на жизнь и на свои обязанности человека и гражданина. За год до женитьбы он был единогласно выбран в мировые судьи.

Хотя мои родители прожили вместе 26 лет очень счастливо и прижили 6 человек детей, трудно было найти людей менее похожих и по воспитанию и по характеру. Отец был умный и хорошо образованный человек, был отлично воспитан, в жизнь свою никогда не повысил голоса, а в обращении с людьми был сдержан и суховат. Все поголовно его уважали, но не все любили, а некоторые считали "гордецом". Мать была вовсе не умна, хотя я не помню, чтобы она когда-нибудь сказала глупость. Ум ей заменял здравый смысл. Была совершенно необразована и из книг читала только евангелие и псалтырь, причем большинство псалмов знала наизусть. Характера была живого и вспыльчивого. Когда сердилась, могла выбранить грубо, но деревенски. По натуре была человек открытый и прямой и подруг и приятельниц, из самых разнообразных кругов, насчитывала десятками. Отец был почти атеист. Мать не пропускала ни одного поста, никогда никаких сомнений не имела и верила, как простая деревенская баба. Отец заказывал себе платье в Петербурге. Матери было совершенно все равно, что на ней было надето. Под конец жизни юбки и кофты ей шила Матрена Милантьевна, модистка из Лобанова. Помню, раз в детстве мне подарили игрушечный кнутик. Отец нахмурился и сказал, что кнут, орудие страдания, не есть подходящая игрушка для детей. О телесных наказаниях он говорил с ужасом и с возмущением. Мать считала, что если мужика, который пьянствует и колотит свою беременную жену, "поучат" в волостном правлении, то "ничего дурного, кроме хорошего" от этого не произойдет. Отец запрещал говорить слово "мужик", а требовал, чтобы говорили "крестьянин". Когда крестьяне приходили к нему по делам или за советом, он принимал их у себя в кабинете, давал руку, сажал и говорил им "Вы". При встрече с ними в поле, он первый снимал шляпу. Не любил, чтобы его называли "барин". Нужно было говорить: "Владимир Егорович". Мать мужикам и бабам давала руку, но не для пожатия, это она сочла бы великой дерзостью, а для поцелуя. Всем говорила "ты", считая в свою очередь вполне естественным, чтобы и ей говорили "ты", "барыня", или "Надежда Афанасьевна", безразлично. Посетителей она принимала не в гостиной, а в верхней кухне, где разогревались кушанья и ставились самовары, причем посетитель или посетительница стояли, а мать сидела. На улице она требовала, чтобы бабы ей кланялись, а мужики ломали шапки, а кто этого не исполнял, тем она делала замечания. Мы дети, когда выросли, позволяли себе иногда подеменваться над таким "ярославским феодализмом", но мать ничего в этом смешного



не находила. Зато эта же самая феодалка и крепостница, которая всю округу лечила даром своими домашними средствами, — в столовой в угловом огромном киоте, под семейным образом Костромской Федоровской Божьей Матери, у нее была целая аптека, — могла промывать запущенные грязные раны на грязных мужичьих ногах или лечить от поноса их шелудивых ребят и ни в какую специальную заслугу себе этого не ставила. И могла она также в этой самой верхней кухне посадить какую-нибудь бабу постарше к столу, попить с ней чайку, поохать над ее малыми горями и поплакать над большими. Я бы не поручился за то, что сидя в кабинете у отца посетители его всегда понимали. Но что те, кто стояли и сидели в верхней кухне, понимали друг друга в совершенстве, в этом не может быть ни малейшего сомнения.

За исключением одного трехлетия в уездных предводителях дворянства, всю вторую половину своей жизни отец провел на земской службе, сначала в Любиме, а потом в Ярославле. Убежденнейший либерал "шестидесятник" и земский деятель, он увлекался проведением дорог, занимался статистикой, строил школы и больницы. Отличная ярославская губернская больница, построенная в березовом парке на самом берегу Волги и называвшаяся "Зогородный сад" — всецело детище отца. В главном зале больницы до самой революции висел его довольно похожий портрет масляными красками.

В 1891 году, разгар реакции царствования Александра III, после многих разногласий, отец раз крупно поговорил с глупым губернатором, генералом с немецкой фамилией. Когда отец вернулся домой, у него сделался первый припадок грудной жабы. Через месяц припадок повторился. Мать повезла его в Москву на прием к знаменитому Захарьину. Накануне назначенного для приема, за утренним кофе, отец умер. Ему было тогда всего 52 года. Когда гроб его привезли из Москвы, от нашей станции и до нашего прихода Ивана Богослова, где его похоронили, т. е. 17 верст, крестьяне всю дорогу несли его на плечах. Одна деревня сменяла другую. Похоронами распоряжались становой пристав и два урядника.

В 1918 году, когда революция смела с лица русской земли всех исправников, становых приставов и урядников и когда в русской деревне каждый мог совершенно безнаказанно проделывать все, что бы он ни пожелал, включая поджог, грабеж и убийство, когда во всей нашей округе не осталось ни одной помещичьей усадьбы, все было сожжено, мать, 73-летняя старуха, полуживая от болезни и огорчений, еще дышала в Соболеве, которое на удивление всем продолжало стоять на своем месте. Регулярные приемы она тогда уже прекратила, а только лежала и молилась Богу. И вот как-то раз в сумерках к ней явились две старухи и под строгим секретом поведали ей, что ближайшие му-



жики порешили ей сказать, сами притти они поопасались, что покуда она, "старая Макариха", жива, бояться ей нечего. В доме ничего не тронут и другим не дадут. Коли, мол, наедут "комиссары" из Любима, тогда уж, конечно, делать нечего, а сами ни-ни, пальцем ничего не тронут... Мать поблагодарила и заплакала. И старухи с ней поплакали. Через месяц она умерла. Гроб ее тоже несли на плечах до церкви. А через две недели после ее смерти вся усадьба, где жили тогда 3 женщины и трое маленьких детей, сгорела до тла. Есть полное основание думать, что сожгли все-таки не свои, а "чужие".

В описываемое время, весна 1905 года, мать была еще бодрая 60-летняя женщина, ходила в платке и в кофтах и приемы и лечение шли на полный ход. Она сама отправила меня в круговую поездку по дядям и теткам, а когда я вернулся, снабдила меня некоторыми отцовскими вещами, велела отслужить на его могиле панихиду, взяла обещание писать не реже одного раза в месяц, и со слезами и молитвой, наконец, отпустила меня на службу в Петербург.

## НАШЕ ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ.

Полковые офицерские собрания в гвардии были заведены сравнительно недавно, во вторую половину царствования Александра II. До этого времени офицеры, повидимому, могли собираться лишь на частных квартирах. В мое время все полки уже давным давно имели свои собрания и некоторые из них, особенно построенные в последнее царствование, отличались большой красотой и даже роскошью. В смысле обстановки и комфорта они могли соперничать с самыми лучшими клубами и в России и за границей.

В Царском Селе были прекрасные собрания у Кирасир, у Лейб-Гусар, и маленькое, но прелестное у Императорских стрелков. В Петергофе очень красивые собрания были у Конно-Гренадер и Улан.

Разумеется, все эти великоленные клубы были построены не Военным Министерством, которое с трудом отпускало гроши на штукатурку и покраску казарм. Деньги на это давали главным образом шефы полков, т. е. царь или лица царской фамилии. Так Лейб-Гусарам, Кирасирам и Стрелкам построил собрания царь Николай II; Уланам — царица Александра Федоровна; Конно-Гренадерам помогли Великий Князь Михаил Николаевич, шеф, и Дмитрий Константинович, бывший командир и т. д.

В нашей 1-ой дивизии, хорошее Собрание было только у Преображенцев, на Кирочной, на которое главным образом дал средства то-